

## В КАЧЕСТВЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ

Еще в детстве у меня был дневник. Я начала вести его в восемь лет, когда из-за предполагаемой болезни пролежала в кровати целый школьный год. Этот первый дневник я храню до сих пор, вместе со многими другими. В семь лет я начала учить русский язык, кириллицу, и я записывала в дневнике свои тайны и мечты на итальянском, но русскими буквами.

Не знаю как, но оба мои брата, а они были чуть старше меня, смогли расшифровать кириллицу и раскрыть мои тайны. Итак, с самого начала писательство было для меня средством проявления внутреннего: бумага стала лучшей моей подругой, а кириллица в этом процессе оказалась как бы тайным инструментом признания, правды.

Тайны связаны с постоянным чувством стыда: позже, за обедом, братья развлекались, рассказывая мои тайны нашим родителям, особенно отцу. Я до сих пор помню, как мне было стыдно, как горел румянец на моих щеках.

Я, словно оживший русско-итальянский дневник, заперлась на ключ в своей маленькой комнате, той самой, в которой пожилая польская дама с перьями на шляпе и ароматом сильных дешевых духов раз в неделю преподавала мне русский язык, начиная с первых слов: *автобус, банан...*

Отец устроил так, чтобы его пациентка, обедневшая с войной и со смертью всех своих родственников, что-

то зарабатывала уроками для одного из его четырех детей, и в качестве ученика выбрал меня. Но отец не любил, чтобы я запиралась в своей комнате, считая, что я слишком часто пользуюсь этим правом, так что в один прекрасный день забрал мой ключ и спрятал его в своем докторском портфеле, где он потом хранился годами. Я знала, что ключ находится именно там, потому что время от времени видела его среди папиных инструментов для измерения давления, для выслушивания сердца. Но я не могла его трогать и просто скучала по нему. Ключ был тяжелым и старым, 20-х годов прошлого века, с тремя кольцами наверху в качестве орнамента, расположенными в виде треугольника.

Мадам Wiłkowska, со своей стороны, не очень любила моих братьев и жаловалась мне, что они приветствуют ее не слишком вежливо, на бегу, небрежно превращая *buongiorno* в «*giorno*».

Как очень часто бывает с родителями, отец словно бы одной рукой помогал мне — драгоценным изучением русского, тогда, в начале 60-х годов, совершенно исключительного, экзотического языка, а другой рукой мешал мне осуществить что-нибудь для меня очень важное.

\* \* \*

«Ты уверена, что я не похож на твоего отца?» — спросил у меня Иосиф Бродский примерно 15 лет спустя.

Я об этом, конечно, не думала. Но сразу вспомнила, как мне было приятно в детстве, когда мой отец брал меня за руку, перед тем как мы вместе переходили нашу улицу, и ка-

кой крепкой, крупной и смуглой выглядела его рука. С Иосифом мы тоже ходили по Риму держась за руку. Только у него рука была другая, небольшая и белая. Иногда он искал мою, перед тем как перейти вместе улицу, а иногда ему это мешало: зачем это нужно? зачем тебе всегда нужны доказательства?

Светлые глаза, орлиный нос, единственный сын, донжуанство — у отца, правда, только в молодости: да, у них было что-то общее.

Иосиф говорил, что у меня есть что-то общее с его мамой, в улыбке.

\* \* \*

Вдохновение всех этих стихотворений — Бродский. Это значит, что знаменитый поэт был для меня еще и Музой. Но не просто Музой, а еще и учителем. Первым учителем моим.

Который мне говорил, что если ты хочешь писать, надо начинать с самого простого. Мудрый, глубокий совет. Что, раз тебе этого хочется, не надо ждать, а нужно просто делать, и сразу, не ожидая ничего. Что, если это у тебя не получается и редакция отказывает в публикации, нельзя жаловаться и сдаваться, а нужно настаивать на своем, думая про себя: сейчас я тебе покажу, кто я, сейчас ты это увидишь. Что стишок должен быть запоминающимся, звучать так, чтобы остаться в головах. Что надо рифмовать только далекие по грамматике части речи... «не как те, которые рифмуют *evolution* с *revolution*». И каждая из этих фраз произносилась в разных гостиницах и в разных городах, как будто он хотел, чтобы

эти отдельные фразы зарифмовались во мне, в моей памяти как следует, раз и навсегда.

В то время мне приходили все время в голову рифмы, итальянские и русские, и я их часто записывала. Иногда, от случая к случаю, я делилась ими с Иосифом. Однажды, например, садясь в такси:

«Ну, давай», — он.

«Василиса, виселица», — я.

«Это же не рифма», — он, категорически.

\* \* \*

Однажды, когда Иосиф был у меня дома в Риме, мне нужно было выйти, и когда я вернулась, он, стоя, чуть нагнувшись, спокойно, ничуть не стесняясь, читал мой дневник. Наверно, тогда он мог понять далеко не все и, может быть, просто считал, сколько раз присутствует его имя на каждой странице. Он:

«Мне кажется, что дневник мешает стихам, нет?»

Я была не согласна, и он не возразил, но я этого не забыла. В другой раз, в Брайтоне, тоже, чуть нагнувшись, посмотрел мое напечатанное стихотворение, которое лежало на столе, и потом, улыбаясь, сказал:

«Когда не понимаешь язык, можно судить только по длине строчек: если они более или менее равны, значит стихотворение хорошее».

Еще Иосиф не раз советовал мне писать стихи на русском, потому что, как он говорил, «сочинение на чужом языке освобождает, то есть в некоторой мере позволяет тебе выйти из себя, да?».

\* \* \*

Я никогда не понимала, что было во мне первично: я влюбилась в Иосифа, потому что была влюблена в русскую словесность, или наоборот? Не могу ответить на этот вопрос, только помню, что с этой новой встречи русский, бывший до тех пор для меня, скорее, языком книжным, стал внезапно живым, тем более что Бродский был носителем «нового мира», Америки. В 1981 году он слушал музыку на улице через наушники, что я видела впервые, и носил кроссовки с волнистой подошвой, тоже абсолютная для меня новость. Кафтан стал пиджаком, бакенбарды стали бородой, стихи стали, как он выражался, «стишками».

На мой вопрос ответил Уильям Батлер Йейтс в стихотворении *Among School Children: How can we know the dancer from the dance?*

На самом деле все началось с Марины Цветаевой, вернее, с ее «Повести о Сонечке». 10 апреля 1981 года, в университете, когда я увидела Иосифа Бродского в первый раз, он читал нам предисловие к новому американскому двухтомному изданию стихотворений и поэм Марины Цветаевой, а я тогда только что закончила свой перевод ее повести. Я была, увы и к счастью, под влиянием Цветаевой, той Цветаевой, которая пишет через Сонечку:

«Ах, Марина! Как я люблю — любить! Как я безумно люблю — сама любить!»

Когда мы, в тот же день после лекции, ужинаем вместе в ресторане на Виа Маргутта, я признаюсь ему, что во время вопросов аудитории, к концу, я тоже хотела задать ему один вопрос, но постеснялась сделать это перед другими людьми.

«Какой?»

«Цветаева говорит: *Ибо раз* голос тебе, поэт, / Дан, *остальное — взято*. Как можно поэту жить исключительно своим голосом?»

«Очень просто», — лаконично ответил мне Бродский.

\* \* \*

Мгновенная влюбленность превращается в потерю, страдание. Я в плену, как в детстве, когда лежала в кровати. Тогда я жила чтением и писала дневник. Сейчас тоже, только стала писать стихи. Не это ли имел в виду Бродский, когда сказал мне за столом: «Очень просто»?

Я желаю жить сама по себе, оставить родительский дом против воли всех, даже Иосифа. После того как я приняла это решение, он хочет, чтобы я вернулась к своему отцу и нашла себе постоянную работу. Я звоню ему в Нью-Йорк, не говоря ни слова. Молчу с чувством упрёка и пишу дневник, в котором каждодневные наблюдения все чаще чередуются со стихами и с записями о разных только что прочитанных книгах.

Убегаю от предыдущей, детской жизни, но опять оказываюсь в новом плену, как будто в китайской шкатулке.

Пишу наконец свободно, уже не боясь чужой насмешки, но, когда при встрече с новым человеком мне приходится рассказывать о своей личной жизни, о том, что я люблю человека, живущего далеко, с которым встречаюсь примерно два раза в год, мне стыдно. Люди смотрят на меня странно, это словно отстраняет меня от мира. В то же время я уверена, что проживаю что-то безумное, но исключительное, какое-то неудобное, но уникальное приключение. Стыд не проходит; я чувствую себя обманутой, и мне и из-за этого стыдно.

\* \* \*

Читаю по его совету «Опасные связи» Лакло. Также вслед за Иосифом — «Итальянские хроники» и «Жизнь Анри Брюлара» Стендаля. Иосиф находит сходство со мной в поведении Беатриче Ченчи, и маленького мечтателя Анри Брюлара, за которым скрывается автор.

Иосиф был для меня Абеларом, Лезбией Катулла, мужчиной «Диалогов» Платона; был Онегиным.

Таким образом язык, возраст, пол, эпоха смешиваются в чтении.

Бродский, читая мои письма, говорил мне, что когда я пишу, со мной что-то происходит. Говорил, что мои письма были его капиталом, его... бензином и что, получая письмо от меня, он знал, что теперь ему будет легче жить еще 15 дней.

\* \* \*

«Ох!» — восклицал он иронически, когда я говорила ему нечто сентиментальное. Он постоянно вставлял в свою речь простые, разговорные, инертные, дополнительные словечки, которые со временем становились все более и более характерными: «так или иначе», «и так далее», «на самом деле», «более или менее», «в конце концов». Ему нравилось, что моя речь шла прямым путем, в то время как у него, наоборот, речь постоянно кружилась. Те словечки выступали на повороте слишком быстрой речи и служили ему тормозом, опорой.

Но было многое помимо советов, точнее, за советами стояла его весьма интенсивная жизнь, полная драмы, болезни, успеха. Это было лучшим примером для меня: его жизнь никогда не проживалась на медленном огне, на низкой скорости.

\* \* \*

Я, со своей стороны, думала, что, будь я простой рабочей и работая механически 8–10 часов в сутки, не смогла бы принять такую связь. Это была бумажная связь между постоянно пропадающим мужчиной и женщиной, которая могла себе позволить переходить из одной книги к другой, как коллекционер со своими бабочками. Из-за этого мне тоже было стыдно.

\* \* \*

Мы встречались редко, но писали и звонили друг другу. Свидетелей было мало. Роман был прожит в одиночестве,

порознь и вдвоем. Когда Иосиф иногда предлагал мне вместе пойти куда-то, где было много людей, я отказывалась. Или обижалась, когда он меня не приглашал и предпочитал ходить туда один.

«Наизусть» говорит о тайне, о стыде, о сновидениях и вообще о восторге встречи, о грусти в разлуке, о трауре, о желании пережить.

Когда Иосиф умер, на следующее утро я слышала с неба его голос, пока ходила по коридору своей квартиры. Он мне повторял по-английски: «*Continue*».

Думаю, что знаю, о чем шла его речь.